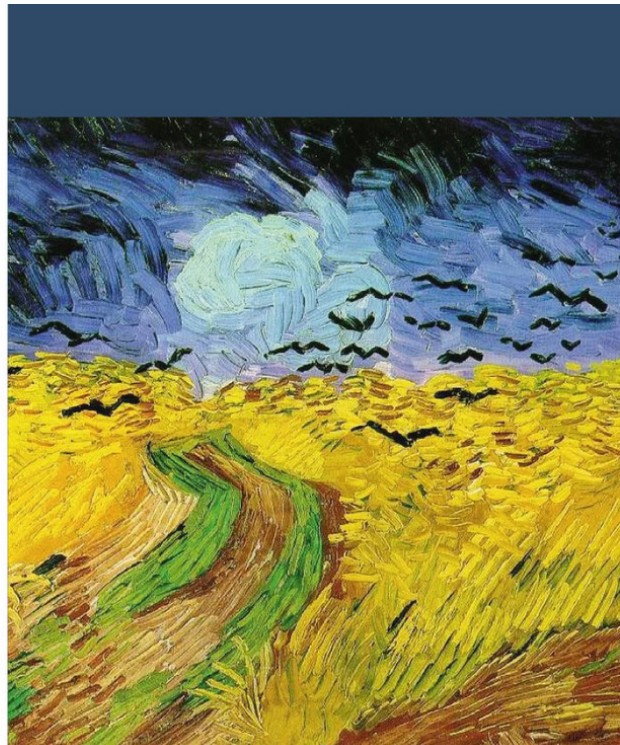


Владимир
Сотников



О́НА



РОМАН

Владимир Сотников

Она

«Автор»

2020

Сотников В. М.

Она / В. М. Сотников — «Автор», 2020

Побег или возвращение? Поражение или победа в борьбе со злом? Герой не знает, как назвать свой отъезд из Москвы в деревню, опустевшую много лет назад после чернойбыльской катастрофы. Радиация представляется ему менее опасной, чем ложь, которая стала определяющей чертой современной общественной жизни. Да, не спрячешься от зла и в деревне Холочье, где прошло его детство. Невозможно вернуть ни дружбу юности, ни первую любовь. Но ангелы, вечные сторожа этого места, не покинут его никогда. «Прошла жизнь, исчезла, а они наводят порядок и чистоту в эфире, чтобы начала писаться здесь когда-нибудь новая с прозрачного листа. Наверное, так будет и во всем мире». Мир, в котором живет Она – так герой называет свою душу, – предстает на страницах романа.

Содержание

Часть I	5
1.	5
2.	7
3.	13
4.	15
5.	19
6.	21
7.	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Владимир Сотников

Она

Часть I

1.

Как я жалею человека, пишущего эти слова, как хочется помочь ему! Он называет меня «Она» с ударением на «о» – пусть называет и пишет, как хочет, я все ему разрешаю за желание меня уловить, почувствовать, писать от моего имени. Это невозможно, хочу ему подсказать, почти невозможно. Но я знаю его упорство. Он перепробовал все свои мысли и чувства, написал о них, и вот решил поймать меня. Пусть ловит. В этой игре моя роль – такая приятная, я и не знала этого раньше. Приятная, в отличие от его мучений. Бедный он, этот человек, в которого я вселилась еще до его рождения. И живу в нем, и окутываю невидимым облаком.

Впервые он почувствовал меня, лежа в своей первой кровати, глядя в окно на ветви яблони. До этого я смотрела на него без встречного взгляда, убаюкивала его, посылала ему сны, а он ничего еще не знал. И вдруг этот взгляд, эта улыбка, первое узнавание – он понял, что я никогда не покину его.

Так мы и жили потом вместе. Если сравнить меня с чем-то привычным для человека, то я, пожалуй, была вроде стекла, сквозь которое он смотрел. Нет, лучше так: он призывал меня в свои взгляды, и я растворялась в них.

Всегда он с моей помощью подправлял течение жизни, прислушивался к шороху времени, вместо того чтобы просто подчиняться движению, которое подхватывало его. Как будто плыл на лодке, но опускал в воду руку, пробуя силу воды – и это незначительное вмешательство изменяло и направление, и ту дальнюю точку на берегу, куда должна была уткнуться лодка. Ненамного, но изменяло. Направление, по которому должна была течь жизнь, менялось. И попытки восстановить его еще больше отклоняли от первоначального пути.

Где бы сейчас он был, какая бы жизнь его окружала, если бы с самого начала подчинился спокойному и ровному движению судьбы? Если бы остался в жизни только ее сторожем? Когда-то в детстве он сидел у постели умирающего деда, и тот сказал:

– Вот, наконец-то я успокоился. А жалко, надо бы раньше. Может, успел бы пожить, как надо...

Слезы одна за другой, живые, быстрые, потекли по седым вискам к подушке. Внук смотрел на них и оттого, что видел их стекающими не по щекам, а сразу из уголков глаз к волосам, подумал, что жизнь всегда будет непривычной и неожиданной, как эти слезы.

Вот он и догнал своего деда в чувстве несовпадения судьбы и жизни. Но разве можно было прожить по-другому? Теперь оставалось только заполнять прошлое воспоминаниями, и они, как старые фотографии, отрицали возможность выбора, застывали в однозначности того, что случилось. А ведь даже за мгновение до этого выбора никто не знал, каким он будет. И никто не знает, какой будет развязка.

Он жил и чувствовал в промежутке между замыслом и исполнением, даже не сравнивая эти крайности. Главное, что мучило и волновало его всегда, было посередине – невидимое, но существующее. Вот где клубились чувства, вспыхивали сполохами, как отблески молний на грозном небе. Там была я. Она, как он называет меня.

Его мысль движется от сложного к простому. Вот он сидит за столом в своей комнате и думает. Почему он любит летать в бесконечности времени и пространства? Там же нет ничего,

только пустота, из которой он пытается взглянуть на самого себя, обрести в этом взгляде силу и уверенность. Пытается одной огромной мыслью, будто взмахнув бесконечным покрывалом, подумать о жизни, охватить ее еще до начала и после конца – и обрывается куда-то, срывается в пропасть. И вдруг почувствует меня рядом, и словно задохнется. И называет, называет, называет меня про себя, и слова сразу же кажутся неточными и приблизительными, и проще становятся они, пока не превратятся в одну фразу. Я – это я и Она, скажет себе. И замолчит, чувствуя меня без слов. И думает, глядя сквозь меня, словно уговаривая меня проявиться. Но как ему помочь? Соткаться легким облаком? Нельзя мне, нельзя.

Вчера он говорил мне, что все мысли – такая же условность, как и слова, что растворены они там, где я живу, и что осталось у него одно только желание переместиться в тот мир или хотя бы коснуться его возможностью о нем сказать. Но как, не знает он, а только знает, что хочет этого. Бедный человек, надо дать ему отдохнуть от меня. На какое расстояние удалиться, чтобы он забыл обо мне хоть на время? Возможно ли это?

2.

Шли и шли, только не пели «Вечную память», подумал я, вдруг вспомнив начало «Доктора Живаго», и ощущение этой книги совпало со всем видимым вокруг. Замелькали слова, которыми я всегда пытался определить этот роман. Стихийный, вихревой, уносящий... Хотелось одного слова, но оно, конечно, спряталось куда-то. Как всегда при подобных попытках, наконец появилось ничего не значащее слово «странный». Пусть будет странный. Странный роман, как эта видимая жизнь. Я и перечитывал его всегда, открывая наугад, чтобы взрыхлить привычность ощущений.

Шли и шли от метро к Немцову мосту, сотни и тысячи людей, так много лиц, от которых хотелось не отворачиваться, а наоборот, вглядываться в них, угадывая похожесть – свой среди своих. Шли и шли в радости единения. А что будет потом?

А потом я оглянулся – после шествия, когда сам уходил и все расходились, – на живые ручьи, растекающиеся, как вода с холма в овраги. В низины, в метро, в безразличную жизнь.

Еще на мосту рядом со мной остановился старик, тоже посмотрел назад, на бесконечную вереницу людей, перевел взгляд на Кремль.

– Какая картина, – сказал он, ни к кому не обращаясь, но, наверное, желая, чтоб его все-таки кто-то слышал. – Величественная и ужасная. Две стихии, зримое их соединение. Нет, не соединение. Столкновение. Народ и власть, добро и зло, желание высказаться одной стороны и полная глухота другой.

И хоть я согласен был с ним, и сам думал о том же, глядя на этот Кремль и на бесконечную толпу, идущую по окраинам моста, но внутренне поморщился от его слов. Тот самый случай, когда правда банальна до пошлости. Волга впадает в Каспийское море. Да, это так, ну и что? Я уже готов был ответить что-то вроде: а где вы видите народ? Народ дома сидит, это лишь малая часть его, а если бы пришли сюда все, то и услышали бы их, еще как услышали... Наверное, я устал от слов. От их бессилия. Наверное, был раздражен. Наверняка это так. Потому и сдержался. Но... я узнал старика. Пронеслись внутри эти слова «я узнал старика по слезам на щеках его...» с мотивом песни Высоцкого, и подумал с грустью, что много во мне сегодня цитат. Признак внутренней пустоты и усталости. От злости на эту пустоту я почувствовал, что сейчас сделаю что-то совсем неожиданное для себя – например, заговорю с этим стариком. Неожиданное, потому что такое мне уж совсем не свойственно. Не люблю ни с кем говорить на улицах и не умею. Если такое и случалось, всегда потом об этом жалел.

Но нет, решил я, не заговорю. Устал от слов на общую тему.

Я пошел дальше, потом почему-то оглянулся – старик шел за мной. Нет, он просто шел, но я подумал: идет за мной. Моя внутренняя пустота заполнялась странными чувствами – бывает так, когда не думаешь, а читаешь в воздухе невидимые узоры. Словно хочешь исчезнуть, оставив миру свои ощущения. И предчувствие, что сейчас что-то произойдет, появилось рядом, не во мне. Да, странно я себя чувствовал, странно. И надоело ловить свои ощущения, и устал от этого, а ловля продолжалась.

Я понял, что сейчас совсем один, без Оны. И мне захотелось домой. Я захотел этого так по-детски, так по-юношески, до слез.

Но все продолжалось. Я пропустил старика вперед и пошел за ним. Зачем? Не знаю. А вот потом...

Зачем я уставился ненавидящим взглядом на конных полицейских, едущих навстречу по Васильевскому спуску, зачем не уступил им дорогу? Они остановились передо мной. Я что-то сказал им злое – не помню слов. Один из них отъехал к группе омоновцев. И когда меня уже вели к автозаку, я опять увидел старика. Он подошел к офицеру, что-то сказал ему, достал из кармана и показал удостоверение, и меня отпустили, проверив паспорт.

Все, что произошло, меня как будто не заинтересовало. Как будто это случилось не со мной. Но вот то, что мы со стариком пошли дальше рядом, казалось предсказанным мне еще на мосту.

– Зря вы так, – сказал он. – В лучшем случае потеряли бы время.

– А в худшем?

– Потеряли бы много времени.

– Спасибо за освобождение.

– Не за что.

Метро было уже близко, но мне не хотелось просто так разойтись со своим попутчиком.

– Вы не торопитесь? – спросил я. – Не выпьете со мной кофе?

И вот мы сидим за столиком в кафе.

– Я сразу узнал вас, – сказал я. – И даже хотел заговорить с вами еще там, на мосту, но не решился, хотя мы, можно сказать, знакомы. Вы меня, конечно, не помните, но нас когда-то давным-давно познакомили у Ивановых.

Мой собеседник прищурился, взглядываясь в меня.

– Даже не старайтесь вспомнить, – улыбнулся я. – Мы говорили тогда о начале девяностых, о тех переменах. Скажите, а что все-таки помешало вам тогда, ведь вы были в межрегиональной депутатской группе и одним из руководителей КГБ, – что помешало реформировать его, распустить, в конце концов?

Старик долго молчал.

– Странно все это. – Он обвел глазами пространство вокруг себя. – И встреча с вами, и ваш вопрос. Как будто все идет к завершению. Уплотняется время, становится непривычным. Что ж, остается только повиноваться ему. Я не люблю оставлять вопросы без ответа, хоть порой, как сейчас, не знаю, что ответить. Я ведь и сам себя спрашиваю об этом.

Мне стало жалко его. И себя тоже. Мы устали во всем этом разбираться. Такая усталость виделась во всем его облике! Он выглядел опустошенным – оболочка, а не человек. Наверное, совсем одинок, подумал я, потому и согласился на общение. Я вспомнил, как он говорил сам с собой там, на мосту – так ведут себя только одинокие люди, иногда проговаривающие свои мысли вслух, уже и не замечая этого.

– Вы не журналист? – спросил он. – А то, знаете... Не прочитаю я завтра свои слова в каком-нибудь издании?

– Нет, не журналист. Впрочем... Можете и не говорить ничего. Извините за мою назойливость.

– Не надо извиняться. Может, это мне стоит извиниться, раз возникает такой вопрос. Вы совершенно правы. А все-таки – кто вы?

– Никто. Писатель.

– Ничего себе никто. Ну тогда мне тем более надо отвечать. Надо, так сказать, призвать себя к ответу.

Он опять долго молчал, а я не мешал его молчанию.

– Мы думали тогда, что победили, вот и всё. Думали, что всем, как нам, всё понятно. В этом и была главная ошибка. Знаете такое слово – сопромат? Соппротивление материала. Вот его-то мы и не учли. Надо было преодолевать это сопротивление, а мы... Не преодолевали. Вяло действовали. Казалось, зло само рассосется. А его выкорчевывать надо было. Хотя... Попытки были. И проекты писали, и подавали президенту, людей ясных и умных среди нас было достаточно. Но он сказал: а куда я дену десятки тысяч офицеров? Это же организованная команда. Сделать их моими врагами? Он думал, они будут ему благодарны за то, что не тронул их. Станут его союзниками. Нет, не стали. – Старик усмехнулся и продолжил: – Мой однокашник был среди тех, кто в девяносто первом хотели переворот устроить. Ну, не получилось у них... Он после этого пришел ко мне. Говорит: меня вы расстреляете, понимаю, но

не убивайте жену и ребенка, ему полтора года. Я просто опешил. Понятно, он был в состоянии взвинченном, нервном. Но его слова о многом говорят. О том, что они нам готовили. И, кстати, тоже по теме... Вы знаете, что еще в двадцать седьмом году люди ходили на демонстрации против Сталина? И что с ними стало через год-два? Сейчас к тому же идет. Остались только они, хозяева жизни. А мы на митинги ходим. А скоро и на них не поустят.

Я все это знал и сам. Волга впадает в Каспийское море. Никогда бы не подумал, что эта фраза станет для меня синонимом безысходности.

– Простите, – сказал я. – Я понимаю, как вам тяжело.

– Вам, я вижу, не легче, – усмехнулся он. – Я бы не стал с вами говорить, но какая-то странность есть во всем этом. Нарочно не придумаешь. Вот я и поддался.

– Ничего уже не изменить, – сказал я. – Сейчас уж точно. Пока само не рассосется это зло.

– Само? Как и тогда нам казалось? Вряд ли. Тогда у него силы иссякли, а эти копят силу, чтобы такого не допустить. Однажды я услышал: как жалко, что во время Всемирного потопа из-за плохих людей столько хороших погибло. И природа, и звери, и птицы. Это можно сказать и про наш двадцатый век. Всегда из-за моральных уродов всем достается. Но это как-то уж совсем по-детски... Когда на меня вывалилась вся информация – и архивы, и секретные сведения, – я чуть с ума не сошел. Не случайно вспомнил про потоп. Тогда только и думал об этом. Смыть все к чертовой матери! Но самого по себе зла недостаточно для потопа. Принятие зла всеми, вот веская причина! Один человек имеет совесть, но куда девается она у массы людей? И к чему эта масса ближе – к отдельному человеку или к равнодушной природе? – Он помолчал. Вздыхнул: – Ведь почему на митингах так мало людей? Ну согласен, согласен, много. Но где остальные? Где необходимое количество, чтобы доказать непринятие? Вы меня понимаете?

– Понимаю. На меня не вся информация вывалилась. Но достаточная для этого, как вы говорите, непринятия. У меня был простой пример. Я рос в деревне. К нам приезжал на отдых из города пожилой человек. Все знали, что при Сталине он работал палачом – всю жизнь. Мне казалось, я сойду с ума от того, что понял: люди уважают его. Больше, чем всех моих соседей – учителей, плотников, пастухов, кузнецов и строителей, мало ли порядочных людей. К нему относились с каким-то особенным уважением, с придыханием, с уважением-восхищением-испугом. Он был выше по неизвестному страшному статусу, который заставлял всех чувствовать себя по сравнению с ним ниже. Это не сравнить с вашим потрясением, но что-то во мне надломилось тогда в отношении к людям.

Мы молчали. Потом он сказал:

– Значит, понимаете. Но если уж возвращаться в сегодняшний день, если говорить о том, на что нам надеяться... Кстати, перечитайте Толстого, эпилог «Войны и мира», вторую часть. Про некие космические сдвиги в сознании людей. Ответа я, правда, не нашел, но его рассуждения если не вселяют оптимизм, то как-то... Хоть собственную вину приглушают. Это я о себе, конечно. На вас-то никакой вины нет.

– Какая же на вас вина? А что касается космоса... Действительно, ощущение такое, что там все решается. Как будто выстроились напротив две силы, взметнулись облаками, и уже не в людях дело, а решается где-то там... Высоко над нами.

– Может быть. Хотя, как говорится, какое там дело до наших волнов? Видите, любую проблему можно и так, и этак повернуть. Можно на что-то надеяться, а можно и опустить руки. стакан наполовину пуст, наполовину полон, как посмотреть. Я все-таки, наверное, пессимист. Не только в стакане отличие, понимаете? Мы, пессимисты, думаем, а эти действуют, и в этом их сила. А еще – их просто много. Вы даже не представляете, как их много. Больше, чем нас.

И тут я встрепенулся. Как раз об этом я и думал! Об этом и надо было спрашивать. У кого еще, как не у него?

– Знаете, что самое трудное для меня в любом разговоре? – чуть не воскликнул я. – Все эти формальности в виде извинений, придаточные условности. Сейчас я извиняюсь перед вами и хочу, чтоб вы приняли искренность моего извинения, но тем самым отвлекаюсь от главного, к чему не решаюсь приступить, на что вы можете ответить.

Он улыбнулся:

– Вот теперь я вижу, что вы и правда писатель. Сидим мы с вами в трактире за столом, ведем беседу. С умным человеком и поговорить любопытно, так?

– Достоевский сейчас, конечно, странно звучит. Всему свое время. Впрочем, как и Толстой. Когда я вижу этих его потомков в телевизоре, думаю: а может, Толстого и не было? Так вот, я вас спрошу только об одном. Я вижу, что этот разговор о причинах и следствиях вам, как и мне, не очень приятен. Ну и не будем. Но раз уж мы встретились, я спрошу только об одном, без всяких придаточных. Можно?

– Да что вы так разволновались? Мне даже интересно. Я ведь давно ни с кем не говорил. Так что спрашивайте.

– Я написал книгу. В ней моего героя, молодого человека, вербует офицер КГБ. Они это умеют, да. И вот когда уже нет, казалось бы, выхода, когда уже не действуют никакие аргументы, этот молодой человек в отчаянии, в крайнем состоянии – а дело происходит в армии, куда приехал к нему тот офицер для очередной беседы, и они разговаривают в лесу, на поляне, где мой герой рубит дрова, – ударяет себя по пальцам топором. Офицер убегает, и больше никаких встреч. Всё! Мой герой свободен.

Я замолчал, как будто споткнулся.

– Так в чем же ваш вопрос? – спросил старик. – Вы так быстро рассказали, но я все понял. Это страшная цена освобождения. Они поняли, что он им не подходит. Вы это хотели спросить, точнее, уточнить? Извините за, как это называется...

– Тавтологию, – подсказал я машинально. – Нет, не это. И вот мою книгу читают. И что же вы думаете? Каждый второй, а может и чаще, читатель отводит, я это так называю, глаза. Как бы отворачивается, не хочет этого знать. Вот и весь мой вопрос. Почему?

– Я вам уже ответил, а вы не заметили. Когда сказал, что их много. Вы даже не представляете, как их много. Не только офицеров, которые занимались вербовкой, но и тех, кого они успели подмять под себя. Вот им и неприятно читать такие вещи. Неприятно. Но это не значит, что они плохие люди. Вовсе нет. Мало ли какие обстоятельства были у них? Духу не хватило. Мало ли... Но все-таки, согласитесь, не все ваши читатели такие? Не всех же вы в заложники берете этой сценой – если глаза отводит, значит, завербованный? А может, им вся книга не нравится. Может такое быть?

– Может, конечно, – охотно согласился я. – Не все читают так, конечно. Хотя... Большинство, как вы говорите. Но я уперся в своей мысли. Почему-то уверился в ней. Никогда бы не подумал, что стану лакмусовой бумажкой.

– А я хотел бы прочитать вашу книгу. Жаль, что мы раньше не встретились, я бы с удовольствием прочел ее в рукописи. Даже можно было бы поставить мою фамилию в выходных данных – консультант такой-то.

Все-таки сильный он, подумал я. Быстро думает, без всякого удивления. Говорит с иронией.

А я вдруг обмяк. Как сдутый шар. Мой собеседник оценивающе посмотрел на меня:

– Вы, наверное, сейчас помолчать хотите. Один побыть. Да? Только уж больше не заговаривайте со стражами порядка. Не стоит.

– А я думал, – улыбнулся я, – вы слабый, Вадим Викторович. Нет.

Он махнул рукой:

– Где уж там. По инерции. Все в прошлом.

Мы распрощались уже без слов, пожав друг другу руки. Когда я оглянулся на улице, то увидел его высокую сутулую спину. Что он думал сейчас? Мне показалось, ничего, как и я. Хотелось только идти и смотреть перед собой. Никаких мыслей, никаких воспоминаний, никаких переживаний. Оболочка, не человек.

Я знал, что Она рядом нет. Потому и казалось, что вокруг ничего нет. И этой встречи не было, таким вдруг стало все пустым. Кроме слов, во мне не осталось никаких подробностей – ни того, как мы искали кафе, ни самого этого кафе, ни улицы, по которой шли. Никакой городской топонимики, сопровождавшей меня когда-то, как музыка, звучавшая внутри после концерта в консерватории.

И как разлюбил я московское метро! Забыл тот волнующий запах, который с восторгом вдыхал в юности, не мог его вспомнить, и от этого, наверное, уже относился к эскалаторам, вестибюлям, поездам лишь как к виду транспорта, с помощью которого можно вернуться домой, глядя все время пути вниз, под ноги. На людей, на их безразличные лица я не смотрел. От них отводил глаза, как те самые мои читатели.

В последнее время я заметил за собой одну странность. Наверное, в поисках Она я стал заманивать ее в свои мысли, специально делая их детскими. В детстве мы были всегда вместе, и сейчас я привлекал ее детскостью и думал как великовозрастный ребенок. Будто смотрел мультфильм или перелистывал детскую книжку и видел Средневековье, и девятнадцатый век, и начало эры, думал, прыгая через столетия, о любом другом времени, кроме своего. Все одинаково и все равно, думал я. Все было так же неуютно, как в этом метро. И в пещере нашлись бы офицеры КГБ, и палачом готов был стать каждый второй в любое время жизни, и не было в людях непринятия зла, и безразличны они в своей массе. Надо же было создать такое! Мы даже соседей не знаем – одни в этом космосе, но почему мы такие? Чуть-чуть бы, чуть больше заложить добра в этот мир, чтобы изменить баланс. Но почему я себя считаю хорошим? Или хотя бы нормальным? Так ли это? Скорее всего, так. Я не хочу быть палачом, не хочу никому зла. Хочу справедливости, прав и свободы. Ну и так далее. Достаточно ли этих желаний для того, чтобы считать себя нормальным человеком?

И вдруг во мне мелькнула уж совсем невероятная мысль. А если это Она послала мне собеседника? Я же говорил с ним как с самим собой. В последнее время, хоть я и гнал от себя эти мысли, они назойливо вились вокруг меня. Словно заполняя пустое время пути в метро, я стал думать, что бы еще рассказал, если б не превратилась моя усталость в молчание.

Как предлагал рукопись всем литературным журналам и редакторши говорили мне: мы не публикуем вещи, в которых главный герой писатель. Как интересно, – удивлялся я. – А «Жизнь Арсеньева», «Дар», «Мартин Иден» вас тоже не устроили бы? Откуда вы знаете, что вам надо? Откуда знаете, как надо? Придумать себе правила и действовать по ним – пошлость самообмана.

Как написал бывшему другу, потомку великого писателя: ты же не стоишь под виселицей, что ж ты ручки злодею целуешь?

Как слушал издевательскую тираду еще одного бывшего – другом его назвать не поворачивается язык – знакомого. Теперь он стал начальником на телевидении и с улыбкой, предлагая мне работу, говорил: ты же любил Чаадаева, да? А Чаадаев утверждал, что наше призвание – показать всему миру, как не надо жить, да? Вот мы и покажем, да так, что чертям тошно станет! Вот наше призвание. А ложь, которая при этом так не нравится тебе в нашей деятельности, необходима, чтобы сплотить людей. Я смотрел на него, оторопев, и понимал, что он считает себя умным, очень умным, а меня идиотом. Мир перевернулся с ног на голову.

Зачем я все это хотел рассказать? Подумал с невеселой усмешкой, что все три разные ситуации – об одном и том же. О лжи. Правда о лжи. Лишняя, ничего не меняющая правда.

После всего, что было в двадцатом веке, я не мог простить миру возвращения зла, которое искало вокруг меня свои рифмы.

Но кто я, чтобы наводить порядок в этом мире? Может, и я лишний в нем. Уйду, и эта капля сдвинет равновесие. Пусть космос сам решает вопрос о потопе.

Я чувствовал, что лечу поездом метро в сумасшествие. Чтобы вернуться к детским мыслям, я вспомнил Незнайку, который говорил: зачем писать правду? Она и так есть. Я добавлял: не только писать, но и думать надо, исправляя жизнь хотя бы в мыслях. Со стороны, издали.

Улетит ли со мной туда Она?

3.

Нет ничего сильнее желаний, и чем неисполнимее они, тем сильнее, потому что не имеют границ и очертаний. Уже давно я живу с желанием вернуться туда, где родился, и завершить там свою жизнь. Это невозможно по многим причинам, и главная из них – той деревни, в которой я вырос, уже нет, как нет и окрестных деревень, там сейчас чернобыльская пустыня. Но я не представляю другого завершения пути. Что будет после жизни? Не знаю. Если есть какое-то продолжение, то надо оставить свидетельство о себе, жившем здесь, если нет, то тем более надо оставить. Мне почему-то кажется, что возвращение туда, где появился, и будет таким свидетельством.

И желание вернуться стало сильнее всех моих сил во сто крат, потому что их на здешнюю жизнь почти не осталось.

Я думал о рифмах, о двух перекрестных рифмах. Две пары схожих явлений мучили меня, как будто время писало строфу. Сейчас я попытаюсь пересказать ее четырьмя абзацами обычных слов.

Человек не должен привыкать к истории человечества. Как привыкнуть к двадцатому веку, который был не в библейские времена, не в Средневековье, а только что, на расстоянии протянутой руки? Как возможно жить после уничтожения людей людьми из-за лживых правил, которые убийцы сами установили? И жить там, где эти правила, показывающие всему миру, как жить нельзя, появились?

Я родился и жил счастливо, пока не узнал в конце своей юности обо всем этом. Зло ошеломило меня. Оно было так велико, что я был уверен: от него можно только отказаться, чтобы оно иссохло без людей, как выброшенная штормом водоросль.

Но оно оживает, как такая же водоросль, подобранная такими же людьми и брошенная в такую же живительную воду.

Чем мне ответить на это? Отречением. Возвращением туда, где был когда-то счастлив, в тот райский сад, ставший пустыней.

Я говорил все это Оне, и впервые мне казалось, что она не понимает. Кто же тогда меня поймет? Кто поймет, что я не наивный обиженный ребенок, а нормальный человек?

Оказывается, наши враги понимают нас лучше, чем мы сами.

Странно мне называть этих людей врагами, ведь они живут где-то рядом, такие же, как я, ничем не отличаются. Внешне, конечно, внешне. Внутренне мы отличаемся.

Их было трое или четверо, а может и пятеро – трудно считать такое вещество. Я открыл дверь участковому, они ввалились за ним в квартиру, заполнили ее, как грязь. Объяснили, что занимаются борьбой с экстремизмом, что пришли для беседы по поводу моего задержания на митинге. Нет, обыска не было – просто осматривали, брали в руки всякие вещицы, ставили опять на полки. Я молчал, наблюдая за этим. Пусть говорят они, раз пришли. Но они тоже молчали – пугали меня своим томительным молчанием. Наконец, старший выдохнул:

– Устал я от вас.

А я? Я не устал? От одного взгляда на таких людей не хотелось жить, от одной мысли, что они существуют. Каиново отродье, все прежние надсмотрщики, жандармы, чекисты и нынешние эти борцы с экстремизмом, бездарные и неспособные, а потому завистливые и ненавидящие. Не давать жить – вот все, что они умеют. У моей знакомой сын служил в ОМОНе. Надоело, бросил, стал строителем. Но через какое-то время вернулся на службу, опять взял дубинку. Как Каин.

Я же уступаю им мою жизнь! – вдруг явственно прозвучали во мне слова. Да, уступаю. Виделась мне картина: жертвенный костер, два человека, один стоит с дубиной, второй лежит

мертвый. Каин и Авель. Я только испугался при этом за Óну – как она будет взмывать вверх к небу в столбе дыма, прощаясь со мной.

Я смотрел в окно, словно выискивая за ним что-то похожее на этот дым – или дымку, или облачко, или просто движение воздуха вверх. И усмехнулся – ну совсем как Лермонтов перед отъездом на Кавказ. Тучки небесные, вечные странники.

– Улыбаетесь, – хмыкнул старший. – Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот, смотрите.

Он положил на полку пакетик с белым порошком.

– Сейчас я его заберу, – сказал он. – Но в следующий раз он будет вашим, и мы его найдем. Поняли?

Я молчал.

– Поняли? Да или нет?

Наверное, им надо было хоть чего-нибудь от меня добиться, хоть какого-то понимания.

Даже «да» говорить не было сил.

Они ушли.

Как же я хотел оказаться где-нибудь далеко, выносящим ногу со ступеньки автобуса – тысячу раз я представлял себе это! Походив по квартире, не находя себе места ни на диване, ни в кресле, ни на стуле за столом, я остановился посреди комнаты, уставившись в стену, на которой висела репродукция «Охотников на снегу». Наконец-то поймал я свою Óну. Бесконечный воздух над прудом на этой картине всегда притягивал ее, она любила в нем прятаться.

– Ну вот и все, – сказал я ей. – Вот и все. Если представлялось что-то тысячу раз, то однажды так и случится.

Мне показалось, от моих слов птица на картине вздрогнула, поменяв направление крыла, и готова была ринуться вниз.

4.

О нет, не счастье испытывает человек во время исполнения желаний, не счастье. Это только принято так считать по какому-то шаблону устоявшихся знаний. Не хотите ли заменить счастье удивлением и согласиться со мной? Конечно, именно удивление – первый сполох всех новых чувств и ощущений, но в спешке так незаслуженно мы не успеваем заметить его! А я заметил и даже наслаждался им долго, бесконечно, отдавая усилием воли от себя ожидаемое счастье.

Я ехал домой – домой ли? – но уж точно куда-то обратно в ночном автобусе и удивлялся, удивлялся, непрерывно удивлялся одинаковости своего состояния, глядя на занавеску окна, будто доказывающую границу времени. Эта граница между прошлым и будущим всегда была во мне, и вот я заметил ее наконец не как словесный образ, а зримо. Занавеска удивления, что все случилось, как и мечтал.

Но я не с того начал. Стал говорить о своем долгожданном удивлении, таком заметном для меня, хотя все остальное в этот вечер оказалось намного интереснее. Все и дальше будет сумбурно в моем пересказе. Но этот сумбур как раз и передает мое состояние. Почти сумасшедшее состояние, обязательно надо сказать, потому что я был как сомнамбула, а не человек, и понимал это, да, понимал. Даже, помню, думал о том, что именно в таком состоянии человек и принимает самые важные для себя решения – не особенно контролируя свои чувства. Странно, что чувства не контролируются, но при этом проносятся внутри особенно явственно, как будто только за ними и следишь.

Для этой поездки я выбрал не поезд или самолет, чтобы не оставить следов в какой-нибудь базе данных на тот случай, если меня будут искать. Заранее готовился – несколько вечеров ходил к станции метро Тушинская, от которой отправлялись в Белоруссию ночными рейсами автобусы, увозившие пассажиров самого экономного класса. Билеты были не у всех – некоторые расплачивались с водителем. И документов он не проверял, что меня как раз устраивало. Я наблюдал за этим процессом, принаравливаясь к нему, думая, что через несколько дней стану одним из его участников.

Что еще я думал при этом? Странные мысли мелькали во мне. Я думал, что какое-то одно слово объясняет мою жизнь, но я не могу его найти. Отъезд, побег, исчезновение? Нет. Не было этого слова, но в него помещались и люди, и автобусы, и вечерний воздух, и вся прожитая жизнь. Остраннение? Этот литературный термин казался мне наиболее подходящим для объяснения всего, что происходило. Я создавал странность, ткал ее в окружающем мире, и она была главной – странность вечерних пеших прогулок к станции метро, странность моих наблюдений со стороны за посадкой людей в автобус и мое чувство, что я – часть всего этого. Только странность жизни, в которую вмешивается будущая неизвестность, продолжает ее, думал я при этом. Конечно, это целое понятие, которое можно объяснить словами, что я и пытаюсь сделать сейчас, но тогда я называл это просто словом. Вначале было слово? Жизнь, называемая словом, и есть слово, которого я не мог найти? Забавно, забавно было, стоя под деревом в тени, думать об этом. Как в детстве, смешение самого главного и игры в слова. Не изменился я со времени своего детства. Но разве можно измениться, если Она не изменилась? Она была со мной там, у Тушинской, я чувствовал ее страх за меня, и мне было не одиноко от этого.

О, эти вечерние походы! Я так наслаждался ими, что стал уже бояться – не решусь уехать, не решусь. Похожу, подумаю, понаблюдаю, и все на этом, устану от похожежности действий. Водитель автобуса помог мне сдвинуться в решении – подошел ко мне в один из вечеров, спросил:

– Приметил я тебя. Следишь за нами, что ли? Или ищешь кого?

Я растерялся, хотел было отшутиться: «Себя ищущу», – но ответил просто:

– Присматриваюсь. Хочу поехать к родственникам в Белоруссию.

– Ну так и давай. Домчим за ночь до Гомеля, выспишься за дорогу.

– Собраться надо.

– Если сегодня не готов, приходи послезавтра. В это же время.

Вот и все, подумал я. Обязательно надо меня подтолкнуть, чтобы я вошел в воду. Значит, послезавтра.

И теперь еду в автобусе по ночной трассе туда, где не был так долго. Домой. Со мной ли Она? Я посмотрел на занавеску – здесь она, на расстоянии вытянутой руки. Хотя если протянуть руку, наткнешься лишь на качнущуюся материю. Но я не материалист, усмехнулся я про себя. Она тому причиной.

Как прыгаю я с места на место в своем воспоминании об этой поездке – как она затевалась, как случилась! Путаю фабулу с сюжетом. Но кажется, так все спутано и в жизни, во всяком случае, в ее восприятии.

Автобус был другим. Того, к которому я присматривался раньше, водитель которого подходил ко мне, не оказалось на месте, когда я пришел к стоянке уже с сумкой. Недалеко стоял другой, но, наверное, такой же. Не возвращаться же домой, решил я. Какая разница? Маршрут тот же, решение принято. Пассажиров, кроме меня, не было. Два водителя, и больше никого. И даже когда автобус еще долго стоял и водители почему-то все переглядывались, делая друг другу какие-то знаки, мне казалось, что мы уже тронулись с места.

И вдруг явственно я почувствовал и понял, что время вообще идет именно так, как сейчас – все происходит не последовательно, а одновременно. Нет во времени сюжета, вот в чем дело. Только фабула. Все подробности слились воедино. Я вспоминал, конечно, все, что произошло до этого – за несколько дней, за два дня, за час, за минуту, – но мне казалось, что все случившееся совсем не продлилось во времени. Все одновременно. Потому я так и прыгаю с одной подробности на другую – все они в одном месте моей жизни, во мне сейчас. Почему же раньше я этого не чувствовал, а жил привычно, как все, как принято? Наверное, просто взбудоражены сейчас мои ощущения этой поездкой, успокоил я себя. Необычные решения вызывают и необычные чувства. Конечно, это так, конечно.

Я уселся поудобнее, надеясь исчезнуть, раствориться в непривычном ощущении. Приятны новые чувства! Одновременность продолжалась. Я видел, не вспоминал, а видел, как собирал дома сумку, которая лежала сейчас рядом со мной на сиденье, как думал, что еще положить в нее, как взял с полки кусок бивня мамонта килограмма на три, привезенный когда-то с Севера, из экспедиции. Мгновенно мелькает мысль, что подарю его Алексею – занимается ли он сейчас всякими художественными поделками? Откуда-то я помнил это, помнил, что живет Алексей в Гомеле, что остался у него дом в нашей выселенной деревне – может, я встречу с ним? Сумка заметно тяжелеет, я запикиваю в нее какую-то еще одежду, беру из шкапулки загранпаспорт, все деньги и уже вижу, как меняю рубли на евро в обменном пункте у метро, рядом со стоянкой автобуса. Мне даже жаль, что эти подробности – какие-то чересчур обычные, и я смотрю вверх, в невидимое из-за света фонарей небо, и хочу, чтобы Она на прощание тоже так посмотрела. Я даже не сомневаюсь, может ли она так сделать – мы же вместе.

Но вот растворяется, постепенно растворяется мое ощущение одновременности происходившего и происходящего. Не только привычка жить и чувствовать как принято виновата в этом. Летящий автобус, вырвавшийся из городской светофорной толчеи, вытягивает своей скоростью время в единую прямую, привычную до неприятности линию.

Все. Еду. Позади все, что было, что казалось одновременным, а впереди неизвестность. Связать бы это в новой слитности.

Занавеска вдруг качнулась, словно от удара светом встречной машины. Словно кто разбудил меня, и даже имя раздалось внутри – Опра Уинфри. Бывает так – будто кто-то крикнет внутри тебя. Меня обдало холодом медленного понимания сделанной ошибки. Да ведь я влип! Похоже на то. Я приходил в себя, как будто возвращался в оболочку нормального, с холодными

и ясными чувствами, человека. Умею быть и таким, с опозданием, но умею. Каким же глупым увидел я свое попадание в этот автобус. Именно попадание. Попался, влип.

Мы ехали по довольно пустынному шоссе. Уже долго ехали, и дремал я неизвестно сколько времени. Но вот проснулся и пришел в себя.

Я вспомнил, как натолкнулся на одного из этих водителей, выйдя из обменного пункта. Как разговаривал потом с ними обоими у автобуса, шутил по поводу сумки в ответ на их замечание, что она не такая уж большая для дальней поездки. Зачем показывал им бивень мамонта? Рылся в сумке, надеясь найти рубли, чтобы расплатиться, забыв, что поменял их все без остатка на евро, машинально вытащил увесистый кусок бивня, похвастался, что это большая редкость и ценность – не меньше золота. Заплатил в евро, отлистнув купюру от общей пачки. Я стал полным идиотом? Наверное. Наверное, так меня восприняли и эти водители, везущие меня поспешно подальше от города. Это уже было понятно без всяких сомнений. Интересно, как происходят подобные ограбления? – думал я.

Я понял, что надо играть свою роль до конца, только так и можно притупить их внимание. Один из них подошел ко мне.

– Выпить хочешь? В дороге самое то. Я люблю, когда не за рулем, грамм двести засосать...

В руках он держал два наполненных пластмассовых стакана. Один протянул мне. Он шатнулся, уперся для устойчивости боком в спинку соседнего сиденья. Пахнуло спиртным. Для проверки я направил руку к другому стакану, но он отвел его в сторону, поспешно отпил из него:

– Не, это мой.

Они и правда думают, что я дурачок, понял я окончательно.

Нельзя отказываться. Лучше выдержать потом накат отупения, чем отказаться сейчас. Если выпить, они будут считать, что я уже никакой. Но это будет не так. Совсем не так. Я знал, что справлюсь.

Мы чокнулись, выпили. Никак нельзя было пролить. Следил он, следил внимательно. Пришлось показать, что я пью, глотаю.

О чем-то поговорили, он ушел, спокойной ночи даже пожелал. Я сразу вылил остаток жидкости под сиденье, не опасаясь, что запах выдаст мои действия. Могу же теперь и расплескать, потому и запах.

Сейчас начнется, ждал я, притворяясь спящим. Даже всхрапнул. Сейчас подойдет. Только бы не нож. Но вряд ли они захотят пачкать салон.

Наверное, в водке был клофелин – я начинал чувствовать легкую ватность во всем теле. Но на меня вообще все лекарства действуют в десять раз слабее, чем надо. И медленнее. А они-то этого не знают.

Прошло время. Десять минут? Двадцать? Полчаса? Я не ощущал. Думал: куда ж они едут? А вдруг в какой-нибудь закрытый двор, к таким же, своим? Чувствовалось, что они не торопятся, ожидают действия зелья – скорость была небольшая. Мой «собутельник» подошел, постоял рядом. Наверное, слушал мое дыхание.

Все, больше терпеть нельзя. А если и правда усну? Я пошевелился.

И вдруг сзади мою шею сдавила удавка. Вот оно что! Надоело им ждать, решили действовать наверняка. Я схватился руками за горло, стараясь подсунуть пальцы под веревку, подержался с полминуты, захрипел и завалился набок. Почувствовал неприятный запах. Да ведь это я испортил воздух, сопротивляясь! Вот как, оказывается, умирают от удушья, вот что значит «испустить дух». Так все просто. И страшно. Я замер. Хотелось вдохнуть во всю грудь. Но что у него в руках? Что у него в голове?

Щелкнул нож-выкидушка. Этот звук ни с чем не спутаешь. Мало ему? Минута тишины. Самая страшная минута. Если бы я не выдержал, вскочил сопротивляться, чем бы это кончилось?

Все-таки он поверил, что я без сознания, и оставил меня. Я лежал, цenia каждую секунду, стараясь восстановить дыхание – во всю грудь вдыхал через нос, выдыхал долго, медленно, ртом.

Большой артист во мне пропадает, думал я, пробираясь на полусогнутых ногах по проходу. Он стоял рядом с водителем, у самого стекла, вглядываясь в дорогу. Наверное, выискивал, где остановиться. Удивленно обернулся:

– Эй, ты чего?

Тот, что был за рулем, глянул зло – мол, только время теряем.

– Выйти... надо, – выдохнул я, согнувшись, чуть ли не сев в проходе, держась за горло.

Автобус притормаживал. Остановился. Вот сейчас будет самое интересное.

– Ну, выходи, – хмыкнул кто-то из них.

Я уже стоял у открытой двери, на нижней ступеньке. Он собирался ударить меня в спину ногами, чтобы сразу вышибить из автобуса. Я почувствовал это по дерганью поручней, на которых он подтянулся, и быстро уклонился в сторону. Его ноги лишь слегка скользнули по мне. Он, не удержавшись, упал навзничь. Затылком о верхнюю ступеньку. Никогда еще я не бил лежащего – это неприятно. Совсем неподвижная под кулаком голова, как на плахе, и чувствуешь, что просто убиваешь. Неужели я палач? Водитель округлил глаза, нащупывая рядом с собой рукой – что там у него? Он рванулся встать, но я, проскакивая мимо, почему-то не ударил, а просто толкнул его обратно за руль. Быстро развернулся. Стоял уже чуть позади него и чуть повыше. Моя нога была готова для удара. Вставая, он на мгновение наклонил, словно подставляя, голову. Я ударил его ногой под челюсть. Не дай бог испытать на себе такое. Лицо его взметнулось вверх, он стукнулся головой о стекло и затих.

А что дальше делать? Не садиться же за руль.

Я увидел на переднем сиденье ту самую бутылку, влил им поровну в мычащие рты, запрокинув головы. Конечно, много пролилось мимо. Забрал свою сумку, выключил фары и свет в салоне и вышел на пустую дорогу.

5.

Сначала я долго бежал, стараясь как можно дальше оказаться от этого места, потом, скатившись несколько раз в кювет, пропуская свет проносящихся редких машин, пошел уже быстрым шагом, потом... устал. Сколько я прошел? Километров пять, наверное. На большее не было сил. Если я и дальше буду продолжать эту гонку, то не сумею решить, что делать дальше. Буду идти и идти машинально, пока не ослабею, пока не превращусь в существо, способное только на ошибки. Нельзя. Надо успокоиться, прийти в себя. Я спустился с дороги в лес, прошел метров сто, бросил сумку на землю и сел на нее.

Хотелось только думать, чувствовать и понимать свои чувства и мысли. Неужели мне не нужно мое тело?

До середины ли я прошел свою жизнь, оказавшись в этом сумрачном лесу? – думал я, глядя вверх, сидя под деревом, прислонившись к нему, в лесу не сумрачном, а абсолютно темном, и только какая-то звезда настойчиво прорывалась своим мерцанием сквозь мельтешащие листья, когда они вдруг шелестели. Наверное, надо мной была осина, только ее листья так дрожат без ветра. Кажется, что до середины, хоть на самом деле полностью, чуть ли не полностью прошел я свою жизнь. Человек всегда чувствует себя на полпути. И боится не далекой смерти, а неожиданного отнятия второй половины жизни, и согласен при этом даже на мгновение, на любое, самое маленькое продолжение.

Так думал я, вспоминая свой ужас от удавки, от невозможности дышать, от звука раскрывшегося ножа. Я гнал от себя этот страх, боясь, что он не растворится во мне никогда, и цеплялся за любую мысль, чтобы отвлечься от него. А там кто думал за меня? – удивился я, усилием воли переключаясь с чувства страха на это удивление. Распухшие пальцы болели – значит, выбил суставы о твердую, как камень, голову. Вот почему я не ударил водителя, а толкнул его. Кто это решил за меня? Кто поставил меня позади него, отвел мою ногу, кто оценил узкое пространство для короткого, чтобы ни за что не зацепиться, удара снизу вверх? Я же тогда не думал, времени на это не было. Юность послала мне машинальные действия частей тела. Когда-то мой одноклассник отговаривал меня ходить на тренировки. Столько времени тратить, сокрушался он, чтобы когда-нибудь один раз это пригодилось? Я с ним соглашался только на словах. Вот и пригодилось.

Но нужен ли мне весь опыт жизни? Нет. Я не хотел его. Мне хотелось стать деревом, осинкой, и дрожать листьями, и думать, и чувствовать, но не жить как человек, как люди, которые принимают зло и в пространствах страны, и в длительности десятилетий со столетиями, и в этом автобусе. Маленькая часть мира явилась частью мира большого, отразилась в нем, подтвердила, что она такая же. Мой побег стал заросшей тропинкой посреди такого же заросшего поля, вот в чем дело. Но ведь другого пути и нет. Не перенесусь же я по воздуху, не окажусь в одночасье, как в сказке, в другом мире. А как хочется вдруг оказаться там сразу – там, где пусто и пустынно, где нет людей, где их ошибка превратила жизнь в пустыню. Бог – там. Космический сдвиг, ступок, разлом Вселенной. Я всегда чувствовал это в церквях разрушенных, но не целых. Это же почувствовал и однажды в тайге на Енисее, когда мы наткнулись на ряд ржавой колючей проволоки с остатками лагерьной вышки и каких-то строений. Стояли и смотрели, как в алтарную часть, через проволоку, боясь зайти за нее. Наверное, почувствовал бы это и в Освенциме. Не смогу туда поехать, боюсь, что не выйду оттуда. Останусь в печи или в газовой камере.

Но вернусь в свою деревню, в ту, которая была и которой нет, чтобы сравнить два сознания, счастья прежнего и отчаяния нынешнего, и поместить в пустоту между ними себя, принести в жертву времени. Я исчезну отсюда, и оно станет другим. Поговорю с этой непонятной

бесконечностью. Слышала ли она раньше мои молитвы? Я носил их с собой, и тот, кому они адресовались, был всего лишь во мне.

Я сидел, дремал и думал, думал, радуясь превращению всего себя в эти мысли. Когда-нибудь я стану только ими. И ни разу в эту ночь не вспомнил Ону. Но это лишь доказывало: в такие минуты мы настолько вместе, что не замечаем друг друга.

Утро началось серым воздухом. Через какое-то время я услышал дальний звук электрички. Вышел на шоссе, прошел до первого поворота направо, в лес. По лесной дороге, почти без асфальта, вышел к железнодорожным путям. Как дачник, по тропинке вдоль рельсов, дошел до платформы «52-й км». Словно для меня, был и указатель «на Москву». Пронесся грузовой состав, обдав теплом огромной тяжести. Следующая электричка подобрала меня, как магнит на столе железную иголку. Это сравнение мучило меня всю обратную дорогу. Не затерялся в стоге сена. Второе сравнение было еще более отвратительным. Слова и смысл не совпадали. Вот так всегда, когда хочешь сказать красиво. Что было бы со мной, если бы я всегда умел находить слова? Слипся бы, как воск.

И уже без всяких поисков гудела во мне фраза, с которой я соглашался, которую повторял и повторял под стук колес: первая попытка побега оказалась неудачной. Первая попытка оказалась неудачной.

Я устал. Проваливался в пустоту. Оставить бы только смысл. Оставить бы только силы, чтобы дойти до дома.

6.

Он спит, но чувствует через меня. В какие сны еще отправит? Я летаю из детства в будущее, а то и одновременно нахожусь в далеких друг от друга местах. Но такой и хочу быть, чтобы не заскучать в покое, посреди своей вечности. С ним не соскучишься – неужели я научилась даже таким словам, которые ему не нравятся? Он всегда отвергает их, но я успеваю услышать. Не любит он готовых фраз. Радуетя только словам, которые падают на него как манна небесная. И сейчас, в своем полусне, ловит, ловит их и чувствует себя всесильным.

Вот ему вдруг показалось, что он знает, как писались первые слова о сотворении мира. После взрыва, после гула, после ветра. После пробы пера. Даже замер в дыхании от этого неожиданного чувства. Взмахнулся над миром невидимый покров, плавно опускается на землю, и в точках соединения с выпуклыми земными местами появляются, собираются слова. Их не много, совсем мало. Не надо много, не надо. Нужны только те, что соединяют землю и небо. Не люблю я многословие, и даже любое словие не люблю, а жду только соединения. Что это за светящиеся пятна воздуха вокруг меня? На них покоится невидимый покров, в них весь смысл соединения, только там появятся слова. Знание о них не меньше их произнесения и написания. Пусть даже не проявятся они своими очертаниями, а останутся пятнами света, с которыми я встречу когда-нибудь, когда уже не нужны будут ни произнесенные, ни написанные слова, а только их смысл, который я буду собирать от места к месту, пронизывая эти пятна соединения покрова и неровностей жизни.

Так он думает и чувствует во сне. Но скоро проснется. С удивлением от яви, с удивлением возвращения. Не надо бояться своего бессилия, хочется подсказать ему, не надо. Когда-нибудь я научу тебя всему, когда-нибудь. Когда мы станем только мною.

7.

Исправление ошибки – лучший способ жить. После нее появляется жизнь чувственная, думающая, и кажется, все только начнется с первого, исправленного, повторения. Так было и на этот раз.

Я пронзил свою деревню ночью, перед рассветом, сидя в «правильном» автобусе вместе с другими пассажирами, спящими, безразличными в этом сне к жизни, пронсящейся не только за окном, но и в бесконечном времени. Один я не спал, не считая, конечно, водителя. Я не решился выйти из автобуса ночью там, где ничего бы не увидел. Не увидел бы не только потому что темно. А потому что ничего и нет.

Странно проезжать деревню, существующую только в памяти – как будто едешь во сне. Почему я не вышел? Не знаю. Ведь тысячи раз представлял именно такую картину: я выхожу, автобус уезжает, оставляя меня на пустой дороге, посреди пустыни. Ночь, темнота виновата в том, что этого не случилось. Живой человек всегда побеждает свой образ в выборе обычных действий. Что делал бы этот живой человек на пустой дороге ночью? Не умирать же он сюда приехал. Не упасть же на обочину, рыдая, чтобы уже не подняться.

Ничего страшного, что я проехал то место, к которому стремился, успокаивал я себя, хотя был как раз спокоен. По большому счету, я как раз на месте. Через час приеду в Гомель, поброжу по этому городу детства и юности – сколько времени я не был в нем? А завтра днем на пригородном автобусе вернусь сюда. Ничего это не меняет. Ничего. Главное сделано. И весь оставшийся час до Гомеля я думал о том, что думать так много не надо, так много чувствовать не надо, надо жить по принятому решению, а мысли и чувства и без того, сами, будут вплетаться в жизнь, никуда от них не деться. Они, конечно, никуда и не собирались деваться – продолжали вплетаться в меня, как ленточка в косичку первоклассницы.

Неточное слово «ошибка», неточное. Не только о ней я думал, считая исправление ее лучшим способом жизни. Любая мысль, поначалу кажущаяся приблизительной к своему смыслу, требует уточнения, исправления и летит вперед, увлекая за собой, и только поэтому живешь, продолжаешься.

Странно, что об этом я думал, держа в себе одно далекое воспоминание. Однажды в детстве я наблюдал за муравьями на тропинке в лесу. Выбрал одного, следил только за ним. Он тащил что-то, старался. Почему-то я стал мешать ему – взял травинку, преграждал путь. Он уворачивался, мучился, выбирался на ровную дорожку, а я все мешал. И вдруг подумал: нельзя мешать. Нельзя хотеть этого. Планеты не мешают друг другу, деревья, падая, мешают другим нечаянно, без злого умысла. Нет в природе злого умысла, только в живом сознании появляется он! Зачем мне такое сознание? Но я исправил ошибку. Тем, что подумал об этом – о муравье, планетах и деревьях. Как приятно чувствовать себя равным этому миру – и огромному, и совсем маленькому. Я смотрел на муравья с неизвестным мне раньше чувством, как будто сочинял музыку. Так звучало во мне это новое чувство – по-другому я еще не умел его осознать.

И сейчас мне казалось, что я перебирался через свою последнюю травинку, через свое последнее препятствие.

Предрассветный город показался вымершим. По безлюдным улицам автобус подкатил к такому же безлюдному вокзалу, выпустил пассажиров. Я огляделся. Привокзальная площадь стала теснее, ее окружали новые, построенные без меня дома. Я не нашел взглядом киоск, за которым однажды наблюдал стычку моего тренера по боксу с подвыпившими хулиганами. Она мне запомнилась на всю жизнь наглядным уроком.

После тренировки мы с тренером иногда шли вместе от Дворца спорта к вокзалу, потому что он жил рядом, а мне надо было сесть в автобус, чтобы возвращаться в деревню. Он был

молчалив, отвечал лишь на мои редкие вопросы, сам же никогда не говорил первым. Наверное, все знает, думал я тогда про него. В один из дней мы попрощались, как обычно, он пошел напрямик через пустырь. И за киоском его окликнули несколько человек, подошли ближе, окружили. Я был уже далеко и ожидал увидеть драку, в которой тренер, конечно же, окажется победителем. Там уже оживленно жестикулировали, раздавались угрозы, хотя слов нельзя было различить – какое-то рычание-мычание. Вот уже стали сильно замахиваться, не попадая, проваливаясь в пустоту, потому что тренер легко уворачивался, отклонялся. Четверо или пятеро их было. Я ждал падения их по одному, по очереди, но этого все никак не случилось. Он ни разу не ударил. Выскользнул из толчеи и быстро побежал. Они рванулись следом, но отстали, сразу утомленные, остановились и принялись ругаться уже между собой. Удивление, разочарование, непонимание осталось во мне от этой сцены. Зачем же ему все его умение? – думал я.

Только сейчас я его понял. Совсем не обязательно ломать встречное зло, если нет в этом крайней необходимости. Или если навалилась усталость, как на меня сейчас. Если можно убежать, то можно и убежать. Силой этот мир не исправить.

Вот так и буду все сравнивать с собой, подумал я. Или наоборот, переносить свои чувства на все, что помню, знаю, вижу. А как же иначе? Жизнь – не только способ существования белковых тел. Что-то есть в ней еще. Одной Оны достаточно, чтобы это понять.

Мне хотелось воспоминаний, но они и без моего желания заполнили меня, как будто я исчез, переплыл в луче проектора из зрительного зала на экран.

Сюда, на эту площадь, в детстве я приезжал с дедушкой. Он брал меня с собой попариться в городской бане, хоть была и своя, деревенская. Городскую баню я не любил, но мне нравились эти поездки. После бани дедушка вел меня по одному и тому же маршруту. Сначала в городской парк над рекой Сож, где он пил пиво, а я ел мороженое. Дедушка сверху с площадки через парапет смотрел на пристань и рассказывал мне, как в юности один приплыл сюда на пароходе, навсегда покинув лесной хутор, на котором вырос. Потом мы долго и медленно шли по длинной прямой улице к вокзалу. Это был его путь, потому что и тогда он должен был сесть на поезд, чтобы доехать уже до Минска, до своей неизвестной новой жизни. Шли и молчали. Дедушка, наверное, вспоминал. По дороге заходили в «Детский мир», чтобы купить мне обновку или игрушку. На железнодорожном вокзале, который и сейчас здесь рядом с автовокзалом, садились на скамейку.

Однажды, никогда больше не повторяясь, дедушка рассказал мне, что тогда у него не хватало денег на билет до Минска. Их почти не осталось после парохода, в холщовой сумке был только кусок сала с хлебом, полотенце и рубаха. Он сидел на этой или на такой же скамейке и не мог сдержать слез. К нему обратился старик, сидевший рядом. Узнав, в чем горе, пошел к кассе. Купил билет, проводил до поезда, дал еще немного денег. Дедушка отговаривался, но старик и слушать ничего не хотел. И не сказал ни своей фамилии, ни адреса, хоть дедушка просил об этом, чтобы вернуть ему деньги. «Вспоминай раба Божьего Тимофея», – сказал на прощание старик. «Он как появился из воздуха, так и растаял в нем, а я вспоминаю его всю жизнь», – сказал дедушка мне.

Я прошел и этот путь к парку над пристанью, и обратно к вокзалам. Посидел на скамейке. Никто не появился из воздуха, но этого мне и не хотелось. Все было со мной, во мне, рядом. И воспоминания, и чувства, и Она, которой я мысленно все это рассказывал. Без слов. Она умеет слушать без слов, я это знаю. У дедушки слушателем был я, у меня – она, Она.

Шло время, утро наполнялось шумом машин, мельканием пешеходов. Я все сидел на скамейке. Мне некуда спешить, понял я отчетливо и ясно, и, может быть, вот такие воспоминания – единственная моя оставшаяся возможность жить? Если хочу раствориться во времени, принести себя ему в жертву, то и нельзя отказываться от его одновременности. Одновременности всего, что было, есть и будет. Не зря я приехал, совсем не зря. Думалось и вспоминалось так легко, как будто наконец достиг цели, до этого мучительно недостижимой. Детства и юности

хватит на всю оставшуюся жизнь. Оставшуюся? Я уже не делил время на прошлое и будущее. Наконец-то слился с ним, оно не длилось, а стояло или, точнее, простиралось передо мной одной непрерывной линией, и каждая ее точка дрожала желанием выбора. Что же выбрать сейчас?

И тут, как всегда, живой человек внутри меня подсказал, что делать. А может, Она? Я не удержался от улыбки.

В десятом классе, в моем наполненном любовью времени было это.

Я любил ее так, что вся остальная жизнь не имела смысла и чуть тлела, лишь поддерживая в себе это тление. Все притихло, застыло, замерло рядом с ней. Звали ее Аня, она была из Застенной, деревни за лесом, в пяти километрах от моей. Когда однажды Ани не оказалось дома, я не знал, куда себя девать, куда направить свой взгляд – мне хотелось только посмотреть на нее и почувствовать, что любовь не улетает в бездонную пропасть, а останавливается на ее лице и глазах.

Я приехал на мотоцикле в Застенную вечером, уже в темноте, и долго сидел возле ее дома в пустоте, не понимая, что делать. Мне сказали, что у Ани в Гомеле погибла в аварии сестра. Я знал только, что рядом с домом сестры есть небольшое озеро. До Гомеля сорок километров, я ехал прямо на луну, и это доказывало мне почему-то правильность того, что я делал. Да и не думал я при этом ни о чем. Через меня действовали силы, которые живут до человека, после человека, и человек лишь попадает в своей жизни под их притяжение.

В Гомеле я несколько часов разыскивал место, в котором есть озеро – останавливался, расспрашивал редких прохожих. Потом оказалось, есть улица Озерная, и я стал искать на ней дом, в котором горе. Я даже это использовал для поисков. Слепая сила уничтожила во мне все живое.

Аня вышла ко мне как сомнамбула уже под утро, когда я стучал и стучал в ворота, объясняя мужскому голосу за ними, что хочу лишь увидеть ее. «Поехали домой», – попросил я. Аню дернули за руку обратно за дверь, меня оттолкнули, сказав: «У людей горе, а ты со своей любовью», – и между нами опять выросли ворота. Наверное, меня стоило убить, но я этого не понимал. Несся по шоссе обратно, не моргая, истекая слезами.

Неужели в жизни вспыхивали чувства сильнее, если я только сейчас вспомнил это? Я пошел в сторону Озерной. Вот и дом, такой же, не меняются маленькие дома в завокзальных улочках. Я так же постучал. Все же, наверное, намного тише. Сейчас я был не влюблен, а лишь взволнован.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.